

Таяз Исхаки

# Мулла-бабай

главы  
из романа

\*\*\*

НА ДРУГОЙ день утром Халим с чайдашем отправился за водой для чая, прихватив деревянное ведро и кумганы. Там он наблюдал за тем, как шакирды, и его чайдаш в том числе, дрались с русскими мальчишками, жившими за ручьём. Руки чесались, душа рвалась в бой, но, с одной стороны, слишком свежи были воспоминания о плётке кадия, а с другой – ему никогда не приходилось драться, обливая недруга водой, поэтому он предпочёл смотреть, как это делают другие. Когда вернулись в медресе, Халим учился ставить самовар, а заодно узнал, как зовут чайдашей. Оказалось, что к одним полагалось обращаться «чайдаш-абзы», к другим – просто «чайдаш». Каждый занимал определённое положение.

Со временем уроки стали проходить немного веселее, ухо мало-помалу привыкало к чёртову языку, который казался теперь даже довольно красивым. Встречая в длинной фразе слова «бина беринке», напоминавшие родное «баранге» (картошка), он как-то отходил душой, вспоминая родимый дом, печёную картошку. Мысли уносили его в луга, где, охраняя в ночном лошадей, они с ребятами пекли в золе гречичной соломы картошку, туда, где столько ярких цветов, вобравших в себя все краски лета, такое множество непохожих друг на друга разноголосых птиц, множество красивых бабочек, козявок – всё это надолго уносило его за много вёрст от медресе, в далёкий и милый сердцу край, но он



приучил себя вновь и вновь возвращаться в вонючее медресе, к этим заумным «бине беринке», чтобы забивать ими голову. Но время шло, и с каждым днём он всё глубже проникал в смысл занятий, привыкал к порядкам медресе, становясь понемногу всё более и более похожим на прочих шакирдов.

Наступил четверг. После обеда уроки закончились. Халим, который давно собирался со своим чайдашем посмотреть город, отправился на прогулку. Большие дома, широкие улицы казались чудовищами, готовыми проглотить его. Встречные прохожие пугали, и он часто оглядывался с опаской. Он решил, что ему лучше идти за чайдашем, который шагал смело, никого не страшась, и, казалось, чувствовал себя в городе, как рыба в воде. Вот длинные улицы остались позади, большие дома попадаться перестали. Впереди показался базар. Многочисленные лавки были забиты большими хлебами, разнообразными пряниками и конфетами в коробках; в несуразных каких-то магазинах с громадными дверями полки просто ломились под тяжестью красного товара; всюду стояли тюки с рисом, чаем, сахаром, ящики с фруктами. Халим был сладкоежка, потому глаза его при виде всех этих фруктов, конфет, калачей невольно загорались. Яркие цветастые ситцы он разглядывал тоже с большим интересом. Хотелось к празднику справить себе новый казакин, а сёстрам подарить на платье. Стоявшие у дверей дюжие хорошо одетые молодцы

внушали страх, а потому, не решаясь пройти внутрь магазинов, он дважды прошёл по середине одной и той же улицы, разглядывая товар с мостовой, на расстоянии.

Чайдаш потащил Халима в ряды, получившие название «маржа», потому что торговали там в основном русские женщины. В маленьких лавочках Халим увидел калачи, конфеты, красиво разложенные фрукты. Ах, как ему хотелось попробовать всё это! Он словно прирос к прилавку, сдвинуться с места не было сил. Да и чайдаш, который до сих пор вёл себя так, будто всё ему было нипочём, заметно заволновался. И конечно же, не было на свете человека, кто мог бы устоять перед одним только запахом всего этого великолепия! Чайдаш взглянул на Халима:

– Давай, парень, купим чего-нибудь, а?! – сказал он.

Халим прикинул в уме, сколько из семнадцати копеек, которые лежали у него в кармане, он имеет право потратить, и решился пожертвовать двумя копейками. Отошли в уголок посоветоваться, что можно купить на две копейки. Хотелось кураги, орехов, конфет, замечательного пряничного петуха, который стоял на собственных ногах! Переговоры вели долго, но так и ни до чего договориться не смогли. Решили обратиться к толстой женщине, стоявшей за прилавком. Чайдаш уверенно окликнул её: «Тутка...» На две копейки торговка готова была продать что-то одно – либо урюк, либо конфеты, либо петуха. Чайдаш состроил



**Азалия Килеева-Бадюгина всю свою жизнь, со студенческой скамьи в Казанском государственном университете, посвятила популяризации татарской литературы – осуществляла художественный перевод на русский язык сказок, рассказов, повестей, романов дореволюционных писателей и авторов новейшей истории. В её послужном списке переводы таких литераторов, как – К. Насыри, Ф. Амирхан, Г. Исхаки, Ш. Камал, К. Тинчурин, М. Гафури, А. Еники и многие другие**

жалкую физиономию и плаксивым голо- сом стал конючить: «Тутка, дай уж, а?...» В конце концов, женщина разозлилась и прогнала их. Они долго бежали, не решаясь оглянуться. Только в конце базара перевели дух. Убедившись, что никто за ними не гонится, снова стали совещаться. Чайдаш уговаривал Халима добавить ещё копейку. Поколебавшись немного, тот согласился. Они вернулись и стали торговаться с хромым русским мужиком. После долгих переговоров мужик дал им два-три ореха, три-четыре конфеты и петуха. Счастью приятелей не было конца, словно им удалось ухватить за хвост живую белку!

Конфеты и орехи были поделены и быстро съедены. Божественный вкус их Халим долго ощущал во рту, и ему казалось, что он в жизни не едал ничего подобного. Настал черёд петуха. Он был очень хорош собой. Куда нарядней конфет и привлекательней орехов, а потому и вкус у него должен быть (оба насколько не сомневались в этом) самым замечательным. Розовое лакомство привлекало яркими красками. Глядя на него, приятели глотали слюнки. Каждый хотел бы съесть его в одиночку, оставалось лишь придумать, как это сделать.

«Он на мои деньги куплен, – думал Халим, – значит, съесть его должен я!»

Чайдаш же соображал так: «Если бы я так удачно не сторговался с хромым, не видать бы нам петуха, как своих ушей, значит, он должен быть моим». Они долго шагали, любуясь пряником, пока, наконец, чайдаш не сказал:

– Ну что, съедим давай петуха.

– Не, я отвезу его домой, – не согласился Халим.

Тогда чайдаш закричал:

– Ты что, думаешь, он – твой?! Да хромой его только ради меня уступил. Это же знакомец мой. Я ещё семечки у него в прошлом году покупал!

Шакирды затеяли ссору прямо посреди улицы. Слово за слово, и они уже орали во всё горло.

– Мужик ты! – выпалил в сердцах чайдаш, за что Халим хватил его по спине кулаком. Тот не остался в долгу.

И вот они уже тузили и колотили друг друга, что было сил. Верх одерживал то один, то другой. Дрались долго, пока не выдохлись оба. Домой шли разными сторонами улицы, переругиваясь через дорогу и шмыгая замёрзшими носами.

Халим, у которого ещё горели от тумаков щёки и болели корни волос, за которые трепал его приятель, со злорадством думал: «Петух-то всё же у меня!» – Мысль эта успокаивала его. Он сунул руку в карман, чтобы ещё раз насладиться прикосновением к прянику, но никакого пряника в кармане не оказалось – рука нащупала одни лишь крошки да мелкие обломки! Это было всё, что оставалось от нарядного красавца. Новость так поразила Халима, что он окаменел на месте. Кусочки петуха он разглядывал то приближая ладонь к глазам, то отводя их от себя. Увидев это, приятель вмиг забыл все свои обиды и, подойдя к Халиму, стал сочувствовать ему.

– Это ты виноват! – закричал Халим, придя, наконец, в себя.

– Не я, а ты! Ты, ты сам! – Они снова принялись ругаться, обвиняя друг друга в случившемся. Дорогой они ели крошки и, пока добрались в медресе, всё было съедено. Повода для ссоры больше не было. Теперь оба, как ни в чём не бывало, мирно беседовали:

– Вот отец придет, – говорил чайдаш, строя планы, – я попрошу его купить конфеты, вот увидишь какие!

Когда они пришли в медресе, один из старших шакирдов сказал им:

– Где это вас носит? К калпаниии готовиться пора.

– Калпаниия! Калпаниия! – радостно запрыгал на месте чайдаш.

Не понимая, о чём идёт речь, Халим с недоумением смотрел по сторонам, силясь понять, что же это за радость такая – калпаниия. Всё медресе разом пришло в движение: шакирды перетряхивали во дворе свои постели, взбивали подушки, мыли полаты, полы. Взрослые шакирды из другого дома медресе переговаривались о чём-то с местными. Отовсюду слышалось одно и то же загадочное слово «калпаниия». Мальчишки

весело таскали наверх воду, в углу несколько человек во главе с шакирдом, который участвовал в диспуте, чистили изюм, другие резали мясо, ещё несколько человек перебирали рис. Всё медресе дружно готовилось к какому-то очень большому и важному событию, всюду кипела работа, глаза и лица шакирдов так и светились радостью. Халима тоже захватил всеобщий подъём, хотя он всё ещё не понимал, что происходило вокруг. Как и все, он включился в работу: охотно, не возражая, бегал за водой, носил на кухню дрова, мыл посуду.

Тем временем за окнами стемнело. В который уже раз слыша от чайдаша о предстоящих «играх», Халим вообразил себе нечто, наподобие Сабантуя.

Засветили лампы. Шакирды принялись наряжаться: вытащили из мешков новые рубахи, казакины, натянули новые носки, надели новые вышитые каляпуши. Даже учителя сменили ичиги на новые, обрызгали себя одеколоном. Медресе приобрело праздничный вид. Из чуланов, чердаков, комнат шакирды таскали для гостей всё, что у них было, – мёд, масло, юачу, чак-чак. Здесь были также пряники, конфеты, купленные на базаре, а также «подаптечные» лакомства (так в медресе называли всё, чем торговала кондитерская в подвале под аптекой). Тут же крутился и махдум, которого видели в медресе лишь во время занятий. А Хромой-то как распетушился – ходит, указывает, кому что делать, будто важнее него уж и человека нет! А этот, никудышный, щупленький на вид, тоже гоняет младших шакирдов, с которыми готовит уроки, да ещё и покрикивает на них. Учителя делают вид, будто не слышат кубызов, на которых там и сям наигрывают шакирды. Да и кадий сегодня почему-то не призывает к намазу, хотя пора бы уже. Никто не одёргивает мальчишек, которые, забывшись, разговаривают слишком громко, и не наказывает тех, кто забыл снять башмаки, даже Халима никто не дразнит. Чудеса! Такого Халим ещё не видел. Не было

здесь ни старших, ни младших, ни учителей, ни шакирдов – все превратились в готовящих «калпанию». И чайдаш с согласия Халима достал с чердака мёд и поставил между приготовленными для чаепития чашками.

Наконец-то с хлопотами было покончено. Вышел шакирд с засученными рукавами и громко объявил:

– Плов готов!

Это прозвучало как команда: шакирды разом сорвались с мест. Подобно солдатам, которые, услышав приказ командира, бросаются к ружьям, шакирды кинулись к своим сундучкам и полкам за ложками. Увидев это, Халим растерялся: ложки у него не было. Поняв, что без ложки поесть плова ему не удастся, он до того огорчился, что на глаза невольно навернулись слёзы. Он так и стоял, не зная, что делать, пока один из чайдашей не спросил его:

– Ложка-то у тебя есть? – Халим покачал головой. – Ну и чего ты раскис? Без плова ведь останешься! Возьми вон чашку, из неё и будешь есть!

Халим с облегчением перевёл дух, весело схватил чашку и сунул в карман. В дверях показались шакирды из соседнего здания медресе, у каждого в руке была ложка. Большое помещение наполнилось народом. Для еды было приготовлено три-четыре места: в одном расселись учителя; в другом – подростки; в третьем – на общем очень длинном саке – устроились мальчишки помладше. Халим со своим чайдашем присоединился к ним. Все принялись ждать, когда подадут плов. Халим обвёл товарищей взглядом и, увидев среди подростков маленького мальчишку, спросил чайдаша:

– А этот почему там сидит?

Сосед, который пришёл из другого здания медресе, ответил:

– О-о, так он же джадид\*. С виду хотя и маленький, зато удаленький! Он уже в «Исагужи»-ханы произведён.

Халим понял, что шакирды здесь отличаются друг от друга не только возрастом, но и успехами в учёбе.

\* Джадид – обучающийся по новому методу.

Наконец появился шакирд с большим блюдом в руках. Чудесный аромат плова разом ударил в нос, вызвав нестерпимый аппетит. Шакирд с поклоном поставил блюдо перед хальфами. Появившийся вслед за ним другой шакирд подал плов подросткам. И лишь в третью очередь два шакирда внесли два блюда с пловом и поставили в два конца длинного саке. Мальчишки готовы были тут же наброситься на еду, но кадий предупредил:

– Потерпите, есть начнёте только после учителей. Не торопитесь, ешьте благопристойно, плова хватит всем, ещё и добавку получите.

Мальчишки пожирали плов глазами, едва сдерживая разыгравшийся аппетит.

Наконец один из учителей сказал: «Во имя Аллаха...» Мальчишки дружно склонились над блюдом. Ложки стучали, натываясь друг на друга, чашки бились. Халим, зачерпнув полную чашку, принял есть: плов оказался таким вкусным, что боль и обиды, накопившиеся за время жизни в медресе, тут же забылись: и плётка кадия, и тумак Хромого, и насмешки бородачей. Кое-кто из мальчишек, у которых разбились чашки, ударились в рёв. Прочие, не обращая на них ни малейшего внимания, продолжали спорить ложками, и блюдо быстро опустело. Некоторые из младших, кто был похрабрее других, крикнул:

– Кадий-абзы, у нас плов кончился! – Шакирд, участвовавший в приготовлении плова, принёс им ещё одно полное блюдо. Все снова принялись за дело и трудились так усердно, что напомнили Халиму крестьян, которые, выстроившись друг против друга, вшестером молотят цепами хлеб. На этот раз плов не казался Халиму таким вкусным, как в первый раз. Он уже не старался загребать чашкой как можно больше.

Справились и с добавкой. Увидев опустевшее блюдо, шакирд-подавальщик принёс остатки с учительского стола. Халим был сыт, только глаза всё ещё не наелись. Он зачерпнул плова, но доесть не было сил. Большинство мальчишек насытились, но кое-кто никак не мог остановиться. Эти отвали-

лись, лишь подобрав всё, до последней рисинки.

Первая часть обеда завершилась. Всё лишнее со скатертей убрали, всюду навели порядок. Слышно было, как где-то позвякивают чашками и чайниками – готовятся к чаепитию. Мальчишки отправились во двор ставить самовары. Хальфы, тихо беседуя между собой, не спеша ходили по медресе взад и вперёд. Шакирды постарше готовились к чаю – носили из флигеля чашки, тарелки, блюдца. Вдоль стен отвели места для более почётных гостей. Общее саке младших шакирдов не было забыто – здесь всё было расставлено столь же аккуратно.

Внесли самовары, все уселись пить чай. Халим сидел в окружении чайдашей. К ним со своими шакирдами присоединился хальфа из флигеля. Кроме миски Халима с мёдом и маслом, здесь всюду были рассыпаны курага, изюм, орехи, пряники, конфеты. Душе было радостно смотреть на всё это богатство!

Разлили чай. Послышался весёлый треск раскальваемых орехов. Куда ни посмотри, над самоварами клубился, поднимаясь к потолку, густой пар, всюду светились радостные лица. Халим со своим чайдашем, вплотную прижатые в тесноте друг к другу коленками, с наслаждением поедали райские яства.

Но вот неожиданно где-то заплакал младенец. Похоже, это был препротивный ребёнок! Оказалось, шакирд, сидевший недалеко от общего саке, прикинулся дурным ребёнком. Он опрокинулся на спину, дрыгал в воздухе ногами и, кривя губы, гнусавил:

– Мама, я есть хочу! Хлеба, каши дай мне! Мама, я на горшок хочу!

Медресе дружно грохнуло, один Халим с удивлением озирался по сторонам, не понимая, что происходит.

– Да это же шутка! – успокоил его чайдаш. – Сегодня много будет таких розыгрышей.

– Ага, понятно, – сказал Халим и стал с интересом ждать, что же будет дальше.

Не успели выпить по чашке чая, как в дверях появился нищий.

– Ассаламегалейкум! – поздоровался он. – Давайте-ка, помолимся, – и воздел руки. – Да пошлёт вам Аллах много милостей и достатка! Сына вот в солдаты забрали, дочку зять выкрал, пожалейте меня, подайте милостыню, – затараторил он, протянув руку.

Шакирды снова засмеялись, а Халим опять ничего не понял.

– О Аллах, ходжа Багаутдин, да будет ему земля пухом... – продолжал говорить нищий жалобным голосом. Кто-то дал ему орехов. – О аминь, аминь, – запричитал он, воздев руки. – Мне бы Фатыму теперь, дочку атнинского мульты, ох и обнял бы я её крепко-крепко. И больше мне ничего не надо! Аллах акбар!

Шакирды снова прыснули. Чаепитие между тем шло своим чередом.

Но вот, напившись чаю, люди стали покидать свои места. Шакирды живо всё убрали. Было слышно, как за стеной позвякивает посуда... Шакирды постарше устроились на сундучках, мелюзга расположилась прямо на полу возле печи. Плешивый шакирд, изображавший младенца, и Хромой приглашали всех сесть. На середину вынесли стол, на него положили медный поднос с чайными ложками и ключами. Стол окружили шакирды – большие и поменьше. Лампы пригасили, и раздался громкий стук и бряцание металлических предметов на подносе. Несколько шакирдов с кубызами в руках приготовились играть.

\* \* \*

Кубызы затянули длинную мелодию, которая сопровождалась бряцанием медного подноса. Кубызы с высокими и тонкими голосами, напоминавшими плач грудных детей, выводили мотив старинной песни. Ключи и ложки, сопровождая кубызы звяканьем, казалось, старались придать их слабеньким голосам силу. Вокруг сделалось очень тихо. Взрослые и дети, учителя и мальчишки – все, казалось, растворились в мелодии, которая журчала, напоминая о давно прошедших событиях, заставляя

страдать и радоваться, наполняя сердца надеждой.

Кубызы продолжали петь тонкими голосами, увлекая шакирдов в какие-то переживания, далёкие от надоевших своим однообразием будней медресе. Слабые и простенькие звуки откликались в изголодавшихся по красоте детских душах, рождая в них чистые добрые чувства, воскресая в памяти прекрасные мелодии народных песен. Они оживляли в их воображении самые дорогие мгновения их короткой жизни.

Вот поднялся мальчик-башкир и стал выводить мелодию высоким чистым голосом. К нему присоединился ещё один шакирд – песня зазвучала громче. Теперь поднос своим грубым бряцанием лишь мешал пению, которое, как незамутнённый родник, изливалось из самой глубины детской души. Подносу, как видно, стало жаль песни, и он, наконец, умолк. И кубызы уже не попевали за причудливыми поворотами старинной мелодии, прерываемой время от времени возгласом: «Хай!» Будто извиняясь: мы, мол, не виноваты – это деды не умели придумать более совершенный музыкальный инструмент, – они тоже затихли. Певцы, казалось, свободно вздохнули, вобрали в себя свежего воздуха, и голоса их, словно вырвавшись из оков, зазвучали звонче прежнего, взлетели выше, тянули и переливались так, что у слушателей захватывало дух. Неслыханные до сих пор дивные песни, их слова будоражили души шакирдов, будили в них незнакомые мысли, чувства, переживания. Они увлекали в иной, не похожий на медресе, счастливый и радостный мир. Юношам казалось, что они резвятся среди самых красивых и ярких цветов, какие только есть на свете, вместе с птицами и бабочками кружатся над лесами, озёрами и реками. Они обнимали в мечтах нежных юных красавиц... Но временами их пронзала боль, навеянная горькой, голодной башкирской долей. Из лучистого, сладкого сна их швыряло в бездну угрюмой безысходности. В такие мгновения души страдали, мучились и

рвались от тоски, и слёзы невольно наворачивались на глаза.

Певцы замолчали. Все, кто был в медресе, разом как-то горестно вздохнули, словно из рук у них вырвали что-то бесконечно дорогое, отняли любимое дело, которое приносило наслаждение. После небольшого перерыва огни снова притушили, и неизвестно откуда явившийся шакирд заиграл на курае протяжную мелодию. Звуки крепили, росли, а временами ослабевали так, что начинало казаться, что вот-вот коснутся пола, но они, внезапно окрепнув, снова взмывали ввысь, будто собираясь дотянуться до самого неба. Кураист оказался дивным мастером, ничуть не хуже певцов. Снова все замерли, обратившись в слух. Чуть переждав, после кураиста опять заиграли кубызы, сопровождаемые звяканьем подноса. Шакирды, стоявшие вокруг стола, начали без слов напевать плясовую. И тут в круг выскочил какой-то маленький мальчик в кавушах на толстой подошве и пустился в пляс, притоптывая ногами и всем телом извиваясь в такт музыки. Иногда он тихонько, мелкими шажками шёл в сторону музыкантов, пожимая плечами, потом принимался громко притоптывать, взмахивая руками, и вдруг стремительно пускался по кругу, выписывая ногами такие кренделя, что уследить за ними не было никакой возможности. Порой, прищёлкивая пальцами, он топал так громко, что заглушал не только кубызы, но и звяканье подноса. Вдруг он поднимался на носочки и, легко подпрыгивая, становился похож на пушинку, которая, казалось, вот-вот отделится от пола и воспарит к потолку. Музыка звучала всё быстрее, а мальчик взлетал всё легче и выше, словно тело его не имело веса и полностью обратилось в движение и ритм. Шакирды заворожённо следили за ним, боясь перевести дух. Когда маленький плясун остановился, все закричали: «Ещё, Магсум, ещё!» Раскрасневшегося взмокшего Магсума учителя уговорили сплясать ещё. Тот послушно снова пустился в пляс, высекая ногами искры, околдовав, очаровав всё медресе.

После небольшой паузы огни убавлять не стали. Послышались голоса. Из угла вынырнул шакирд и поставил на видном месте стул. Вслед за ним показался другой – в чалме и чапане, с зелёным посохом в руке. Он важно откашлялся – «кхе-кхе» – и, поднявшись на стул, принялся читать так называемую «мужицкую проповедь» – пародию на то, что люди обычно слышат в мечетях.

Юмор состоял в том, что язык «проповеди» был пересыпан обычными просторечными словами, созвучными арабским. В результате проповедь превращалась в уморительную шутку. Без тени улыбки на лице шакирд нараспев тянул эту чушь, не обращая внимания на дружный хохот слушателей.

На смену «мулле» вышел другой шакирд. Улёгшись на саке, он стал изображать умирающего мужика, трясся всем телом и неистово дрыгал ногами. Явился мулла, стал читать отходную молитву из Корана и заставил мужика произнести завещание. Умирающий был намерен оставить мулле солому, которой была устлана телега, однако тот не соглашался и требовал козу. Они долго препирались, а народ, слушая, умирал со смеху.

Ещё один шакирд вырядился женщиной, которая без остановки трещала тоненьким голосом и, отчаянно кокетничая, приставала к старшим шакирдам. Кончилось тем, что она впилась губами в одного из бородачей, который с перепугу бросился от неё наутёк, а она пустилась вдогонку. Медресе снова наполнилось смехом.

Тут в дверях появился цыган с медведем. Заиграли кубызы. Медведь принялся плясать и показывать другие номера: то молодушку изобразит, идущую с коромыслом за водой, то лежащего старика, то женщину, ищущую в голове, то хозяйку, замешивающую тесто. Всё было очень похоже.

Потом два шакирда веселили народ потешным диспутом.

Снова пели, плясали, пока за окнами не стало смеркаться. Хромой и ещё один шакирд принялись разгонять мальчишек:

– Всё! Конец! Спать идите!

Окна завешивали одеялами и тулупами. Кое-где появились самовары, и люди сели пить чай. Халим с чайдашем тоже поставили свой самовар в надежде подольше задержаться в зале. Здесь явно что-то затевалось. К ним подсели учителя из флигеля.

– О, наконец-то пришёл! – слышались радостные голоса.

В дверях возник слепой человек в сопровождении шакирда.

– Здорово, Гали-абзы! – Все, кто был в зале, двинулись навстречу гостю.

– Дорогу хазрату, дорогу дайте! – кричал Хромой.

Слепца проводили в конец зала и усадили пить чай. Халим с удивлением наблюдал за происходящим и вдруг услышал скрипку, вернее звук, вызванный мягким прикосновением смычка. Слепец настраивал свой инструмент. К дверям выставили караул, ворота заперли на засов. И вот в полной тишине запела скрипка. Мелодии сменяли одна другую: протяжная песня уступала место весёлой плясовой, татарскую песню сменяла башкирская. Взрослый шакирд, который вчера во время урока задал одному из младших трёпку, затянул песню. Потом пел тот самый голосистый мальчишка, а за ним три шакирда, раскрыв «Мухаммадию», стали нараспев читать её под звуки скрипки. На смену песням спешили пляски, за плясками снова звучали песни.

Время было позднее – за полночь или где-то около часа ночи. Казалось, голова Халима распухла от всего увиденного и услышанного, от пения скрипки заложило уши. Он уже не способен был отличить одну мелодию от другой; тонкие, изысканные звуки уже не трогали его – рот то и дело широко открывался, сдерживать зеवоту не было сил. Он тихонько влез на полати, лёг и, убаюканный голосом скрипки, забылся сном.

\* \* \*

Шли дни, месяцы. Халим освоился с жизнью в медресе, сделался истинным шакирдом. И с занятиями дела пошли

легче. Хотя он по-прежнему не очень-то понимал некоторые мудрёные словосплетения, суть уроков всё же стала доходить до его сознания. Он проштудировал учебник, называемый «Тасриф», приступил к изучению арабского языка и фарси по учебнику «Шархе Габдулла». Освоил спряжения глаголов («бага, ябигу, рама, ярми»), научился красиво нараспев склонять слова, заслужив таким образом репутацию ученика «старательного» и «обнадеживающего». Теперь он чувствовал себя настолько уверенно, что сумел поставить на место одного надоедливового махдума, который досаждал ему, обзывая «мужиком».

Медресе между тем жило своей привычной жизнью. Каждое утро после чая являлся хазрат, а когда он уходил, начинался обед, который чаще всего ограничивался опять-таки чаепитием. Потом шли за водой, творили намаз, снова пили чай, а после начинались занятия с хальфой, позже приходил хазрат, а там, глядишь, и вечер наступал, начинали готовиться ко сну. Так день катился за днём, Халим всё глубже и глубже увязал в этой жизни. В его речи всё чаще проскальзывали арабские слова, и в поведении появились перемены, что всё больше делало его похожим на прочих шакирдов. Хотя был он мужчицким сыном, и вся его родня была мужчицкой, в душе он теперь не любил мужиков, переживал оттого, что родился в такой семье, и стал задумываться, как бы ему со временем порвать с крестьянскими корнями. Изменился и внешне. Недоедание, скудная пища делали своё: он похудел, лицо покрылось бледностью. К одежде стал относиться внимательней. Наслушавшись всяких забавных историй и рассказней о муллах, которыми наполнилось медресе, он значительно обогатил свои представления о них. Общение с шакирдами, которые съехались в медресе невесть откуда и повидали немало городов, порядком расширило его кругозор, мир стал казаться куда просторней. Преуспел он не только в чтении, но и в письме: научился строчить письма, где толково излагал свои нужды. Он уже не так сильно скучал по аулу. Заботы, ра-



дости, печали и забавы, связанные с медресе, казались ему теперь своими. Он частенько говаривал: «Наше медресе» и чувствовал, что имеет полное право на это.

Так промчалось три месяца. За это время Халим дважды был дежурным – кизю, семь раз отведал розог кадия, не раз был бит мальчишками и сам бивал их, сменил несколько пар плетёных из лыка башмаков, сносил казакин, а также пару носков. И вот в один из дней, когда, совершив омовение, он ждал начала намаза, один из мальчишек ткнул его в спину и сказал:

– Иди, тебя мужик какой-то зовёт!

Халим, думая, что это, должно быть, кто-то из аула привёз ему продукты, вышел во двор и с удивлением увидел заматанного в шарф отца в обсыпанном снегом тулупе. Халим остолбенел от неожиданности. Он протянул руку, говоря: «Здравствуй», и замолчал, не зная, что сказать ещё. Отец пробормотал: «Сынок, сынок», – и тоже замолчал. Так и стояли они, глядя друг на друга. Но вот отец заговорил:

– Я за тобой приехал, сынок.

Перед глазами Халима мгновенно возникли мать, сёстры, братья, снохи, ягнята, блины, оладьи, баня – словом, весь его аул. Всё это, казалось, кричало: «Это я, я!», стараясь захватить себе всё его внимание. Воспоминания захлестнули Халима, и он не сразу смог разобраться в своих чувствах.

– На месте ли твой хальфа? Поди, позови его, – сказал отец.

Халим вспомнил, что начался намаз. Пришлось ждать. Как только намаз пошёл к концу, он обратился к учителю:

– Хальфа-абзы, отец приехал, зовёт тебя.

Учитель надел казакин, который держал специально для таких случаев, и вышел в сени. Халим прошмыгнул следом и, притаившись в углу, стал слушать их разговор.

Поздоровавшись, отец поинтересовался:

– Как учится Халим? Не озорничает ли?

Учитель ответил:

– Хорошо учится, и в медресе освоился вполне, уроки знает.

Услышав о себе такое, Халим приосанился, его прямо-таки распирало от гордости!

– Мы тут подумали с матерью, нельзя ли забрать его на время? Помыли бы в бане, перестирали с него одежду, коли позволите...

Учитель:

– Согласен. Думаю, недолго держать станете? Как бы от товарищей не отстал, не замело бы снегом то, что в голове отложилось!

Отец:

– Когда скажете, тогда и вернём.

Учитель:

– Привезите в базарный день, с утра.

Отец:

– Ладно, ладно. В таком разе скажу, чтоб собирался. Мне ещё на базар надобно, – добавил он и, достав из кармана деньги, протянул хальфе.

Дождавшись, пока тот, воздев руки и пошептав молитву, скроется за дверью, Халим вышел из своего угла. Велев сыну собрать вещи и быть готовым, отец ушёл. Халим был взволнован, обрадован так, что напоминал жениха, который спешит к своей невесте. Даже чай был ему поперёк горла. Всё его существо переполняло счастье – до еды ли теперь?! Справившись кое-как с чаем, он принялся увязывать в узлы одеяло и подушки. Сложив книги и бумаги в сундучок, отдал на хранение чайдашу. Приготовив тулуп и валенки, сунув варежки в карман, одевшись наполовину, он сел ждать отца.

Явились на урок мальчишки, жившие в городе. Хальфа начал занятия. А отца не было. Халиму стало жарко, и он разделся. Через некоторое время снова натянул на себя одежду и опять принялся ждать. Отец всё не приходил. Вот уж и хазрат явился, совершил намаз. Самовары вскипели во второй раз, все сели пить чай, а отец всё не шёл да не шёл. Халиму надоело ждать, он устал и начал сердиться на отца. Закипала обида. Он готов был скинуть одежду и, как только покажется отец, крикнуть: «Никуда я с тобой не поеду!» Но душа не со-

глашалась с этим. Мальчишки, пившие чай, дразнили его. Один начинал:

– Халим, смотри, вон отец приехал!

– Да нет же, он уехал давно, – подхватывал другой, – я сам видел, как уезжал. Борода у него чёрная, а лошадь рыжая! Верно я говорю?

– Нет, светлая у него борода, – поправил кто-то.

– Вот и я говорю: борода светлая. Он ещё крикнул мне, уезжая: «Сыну привет от меня передай!»

– Да не уехал он никуда, – говорил третий, – небось, изюм покупает, побаловать сыночка хочет, рис на базаре для балиша берёт, чай... Да вон же он, вон, приехал!

Халим снова оглянулся, хотя и понимал, что шакирды просто балагурили. И всё же это обижало его, ранило душу, невольно думалось: «А вдруг и в самом деле без меня уехал?!» Он чувствовал, как засосало под ложечкой, но кусок по-прежнему не шёл в горло: покоя на душе не было. Шутники уж и чаю напились, а отца всё не было. Хотелось плакать. Он пошёл к печке и сел там. Перед ним, будто наяву, стали мелькать лица родственников – матери, сестёр, братьев, их жён. Желание поскорее увидеть их, поскорее оказаться дома заговорило в нём с новой силой. Душа рвалась в аул, несколько километров, отделявших его от родных, хотелось одолеть одним прыжком. Жаль было тратить на дорогу драгоценные часы. Терпеть пытку ожидания дольше было невыносимо, и он, потеряв всякую надежду, полез на полати. Глаза наполнились слезами. Слезы тихонько сочились из-под век, воображение рисовало теперь самые горестные картины. Он уже не сомневался, что отец уехал один. Дома никто не ждёт его. Мать, сёстры, братья забыли своего Халима, уже не любят его, как прежде. Он чувствовал себя заброшенным и одиноким.

От таких мыслей слёзы снова хлынули из глаз. Он плакал с наслаждением, чувствуя, что слёзы приносят облегчение и успокаивают. На полатах, рядом с жарко натопленной печкой, Халима разморило, и он незаметно погрузился в сон.

То ли во сне, то ли наяву кто-то говорил: «Халим, Халим, отец приехал, отец!» Он торопливо вскочил, и увидев, что вокруг темно, силился понять, где он и почему спал в одежде. Чайдаш, будивший его, видно понимал его состояние. Он повторил: «Отец приехал, ждёт. Насилу отыскали тебя!» Халим, вспомнив всё, что было, торопливо spryгнул на пол и, вглядываясь в полумрак, силился разглядеть отца заплывшими от сна глазами. Шакирды, наблюдавшие за ним, засмеялись. Только тут Халим окончательно проснулся и покраснел от смущения.

– Да ты, оказывается, совсем не соскучился по нам, – говорил отец, – даже подождать не захотел.

Халим повернул к нему голову:

– Так ты приехал всё же?

– Поторопись, – сказал отец. – Ступай, попрощайся с хальфой. Похоже, поднимается ветер. Нам бы на дорогу поскорее выбраться, пока её различить можно.

Халим, успокоившись, пошёл к учителю и опустился перед ним на колени. Потом стал пожимать руки однокашникам. Верный чайдаш вышел во двор проводить. Усевшись в сани, Халим с отцом тронулись в путь.

– Прощай, Халим! – крикнул вдогонку приятель.

Халиму стало жаль чайдаша, которому ещё очень долго, до самой весны, предстояло жить в медресе. «Бедняга!» – подумал он и тут же забыл про него. Всем его существом снова с огромной силой овладело нетерпение – хотелось как можно скорее оказаться дома. Вот бы подняться теперь на крыльях да лететь, чтобы не терять время. Не зная, о чём говорить с отцом, он снова предался сладостным воспоминаниям: мама, сёстры, блины, баня – всё перемешалось в голове. Во рту у него с утра не было ни крошки, а потому при воспоминании о блинах вдруг потемнело в глазах. Есть хотелось так, словно он не ел никогда в жизни. Воображаемый запах блинов щекотал ноздри. Во рту ощущался дивный вкус балиша с гусиными окороками.

– Отец, давай поедем быстрее, – взмолился он, не в силах терпеть муки голода.

Тот, молча взглянув на сына, принялся погонять лошадь. Вот и лес показался вдали.

Халим сказал:

– За лесом гора, сперва поднимемся в гору, потом съедем вниз – там будет чувашская деревня, потом снова подъём, ещё раз скатимся вниз, и – вот уж наш аул!

Он представил себе, как приятели, деревенские мальчишки, будут завидовать ему; как он станет ходить в гости к многочисленной родне, как местный мулла непременно спросит его о чём-нибудь. Обо всём вроде успел подумать, а гора всё ещё была впереди и чувашской деревни не было видно. Он устал ехать, томила скука, на месте не сиделось. Халим стал думать о медресе, вспомнил, как кадий «угостил» его розгами, как ругал хальфа, как зубоскалили над ним мальчишки, как приходилось долбить какие-то непонятные, чужие слова, вроде «игляллар», зубрить формы спряжения – «бага, ябигу», «рама, ярми» – всё, всё всплыло в памяти. Много было всяких событий за короткую жизнь в городе, и все такие значительные, что он невольно подумал: «Неужели это случилось со мной?» А может, мне всё только снится?» Чтобы убедиться, что не спит, Халим принялсяпрягать «бага» и «ябигу». Спрягал и сам себе удивлялся, как ловко у него это получается. Думая о пережитом, он вдруг изумился, поняв, сколько трудных и безрадостных дней провёл он в медресе. «Как я мог жить там? Как сумел одолеть всё это?!» – думал он. Медресе, как оно есть, со всеми его страхами, голодом, плётками, хазратами, хальфами, кадиями и злыми мальчишками предстало перед его мысленным взором. Слова: «Всё! Больше не поеду в медресе, пропади они пропадом все эти

«бага», «ябигу!»), казалось, вот-вот сорвутся с губ, но что-то удерживало его от столь решительного шага. Неужели это гадкое, ненавистное медресе нравится ему, стало дорого сердцу? Мысли невольно переключились на «калпанию». В ушах звучала скрипка слепого Гали, пение башкирских шакирдов, перед глазами возник пляшущий мальчик из Астрахани. Скрип полозьев убаюкивал, сани укачивали, словно колыбель. Халим погрузился в сон.

– Сынок, сынок, мы приехали! – услышал он голос отца. Открыв глаза, стал озираться по сторонам, словно не верил, что он снова дома. Ему почудилось, что окна дома стали меньше, и дверь оказалась пониже. И сам дом изменился как-то, был вроде не того цвета.

Сёстры засыпали вопросами:

– Ну, как ты? Учился? Чему выучился-то?

Халим сразу же вошёл в роль бывалого шакирда, отвечал так, словно речь шла о самых обыкновенных вещах:

– Вы всё равно не поймёте. Я теперь сарыф изучаю. Прошёл «Шархе Габдуллу», «рама, ярми».

Женщины, оглушённые непонятными словами, испуганно притихли и с уважением уставились на братишку, который сразу вырос в их глазах.

Наконец-то внесли самовар. На стол прямо из печи поставили дымящийся паром огромный балиш, наполненный картошкой и сочным мясом в бульоне. Вошли отец, братья – вся семья была в сборе. Отец, вымыв руки, сел на саке.

– Иди сюда, – позвал он сына, – ведь ты теперь у нас шакирд, – и показал на место рядом с собой.

Это было почётное место. Никогда ещё ни братьям, ни сёстрам подобная честь не оказывалась, хотя они и были старше Халима. Он уверенно сел на указанное место, не сомневаясь, что заслужил такое право.